

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ



ПЕСНЯ КОВБОЯ

РАССКАЗЫ

Его появление на нашей улице наделало много шума. Посмеиваясь, говорили, что это было настоящее явление. Поскольку проехать на машине после летних дождей было невозможно, то он нанял бричку, на таких обычно в распутицу добирались на нашу улицу к больным врачам и фельдшерам. Дело было под вечер. Остановив бричку возле дома Родниных, на землю сошёл молодой мужчина, расплатился с возницей, затем приподнял шляпу, поприветствовал пробежавшую по такому случаю малолетнюю публику. Тут же из ворот быстрым шагом вышла принаряженная Полина Дьячкова, подхватила гостя под белые ручки и сделала попытку увести с глаз подальше в дом. Тут же, откуда ни возьмись, точно из-под земли вырос её сын Колька и, не обращая внимания на смущение матери, принялся разгружать бричку. Тут мы чуть не лопнули от зависти! Первым делом он спустил на землю новенький велосипед. Таких накрученных велосипедов на улице ещё не водилось. И если до сего момента у народа ещё существовал вопрос, зачем и с какой целью пожаловал к Дьячковым артист, — а в том, что он артист, не было и малейшего сомнения, поскольку следом за велосипедом Колька спустил на землю гитару и пообгёртый футляр баяна, — то теперь всем стало ясно: Кольке — велосипед, артисту — всё остальное.

И здесь мне неслыханно повезло, увидев в углу ограды перекорёженный, со спущенными колесами Колькин велосипед, Кузьма Андреевич — так зва-

ХАЙРЮЗОВ Валерий Николаевич родился в 1944 году в г. Иркутске. Окончил Бугурусланское летнее училище. Летал командиром корабля, пилотом-инструктором. В 1981 году окончил Иркутский государственный университет. Автор нескольких книг. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

ли артиста — распорядился немедленно выбросить его на свалку. Я воспользовался его решительностью и попросил Кольку отдать металлолом мне, поскольку у меня не было велосипеда и в ближайшее время никакой возможности добыть его не предвиделось.

Колька Дьячков был в хорошем настроении.

— Вот, видишь, у забора лежат брёвна, — сказал он. — Перепилишь на чурки — велик твой.

Глянув на толстые бревна, я присвистнул: да тут на месяц работы! Но другого выхода не было.

Пилить брёвна мне помогала вся уличная братва. Работали в охотку, почти у каждого были пилы и свои брёвна под заборами. С работой мы справились быстро, за несколько дней.

Потом начали приводить в порядок доставшийся мне велик, искать и заменять детали: погнутые педали и спицы, попросили Гошу Мясоедова, который работал на мылзаводе кузовщиком, выправить руль и раму. Олег Оводнев где-то спёр вполне приличное велосипедное седло. У него же во дворе, мы заклеили и опробовали в бочке с водой камеры. И наконец-то я стал счастливым обладателем стального коня, без которого в дальнейшем не мог ступить ни шагу. На нём я ездил на Байкал, к девочкам в пионерский лагерь и даже иногда привозил к Дьячковым самого Кузьму Андреевича, когда он не мог передвигаться на собственных ногах.

С той поры я смотрел на Кузьму Андреевича, как на своего благодетеля. Кстати, его одного все взрослые на улице стали называть по имени и отчеству, хотя мы его про себя называли Кузей. Кое-кто припомнил, что Кузьма Андреевич навещает Дьячковых давно: обычно после вечерних служб в храме он провожал Полину до дому. Полина пела в храме на клиросе, а Кузьма Андреевич был у них регентом. Но потом что-то не заладилось у регента с батюшкой, и он решил уйти на артистические хлеба. Но не в чистое поле, не в городские трущобы, а уже проторённой тропой отбыл к симпатичной вдовушке. Как говорится, где-то убыло, а где-то прибыло; пресная, тихая жизнь предместья с появлением Кузьмы Андреевича приобрела особый лоск; глядя на своих Колек и Митек, многие вспомнили, что именами называют, а отчеством величают.

В то время ещё не было телевизоров и зрелищ было немного, на мелькомбинате, где клуб располагался на месте бывшей церкви, люди приобщаясь к мировой культуре: срывая двери, рвались на трофейного “Тарзана”. Затем появились “Кубанские казаки”, “Свадьба с приданным”, ну и, конечно, мы старались не пропустить ни одного фильма о войне. Иногда, по большим праздникам, чаще всего на выборы, в клуб приезжали артисты. Но на них попадали не все. Теперь все прорехи культурной жизни посёлка закрывал Кузьма Андреевич.

Полина, крепкая, улыбочивая и ласковая женщина, муж которой погиб в конце войны, окружила Кузьму теплом и заботой. Двери в клубы и профкомы для Кузьмы Андреевича были открыты всегда, он выступал перед началом киносеансов, на закрытии партийных конференций, и обязательно на выборах — спрос на него был огромным. Колька буквально не отходил от Кузьмы Андреевича. Мы завидовали ему: надо же, живёт рядом с таким известным и интересным человеком, может бесплатно ходить в кино и на другие мероприятия. Но многие женщины, завидуя Полине, считали: поживёт артист и уедет. Но не тут-то было! Кузьма Андреевич неожиданно для себя самого засел в нашем предместье. О его артистических и других способностях знала не только Полина. Знакомства с ним искали профсоюзные и партийные работники, на мясокомбинате он руководил хором колбасного и убойного цеха, с которым он выступал перед рабочими коллективами. На этих встречах Кузьма читал классику, иногда собственные сочинения, притчи и, конечно же, пел. Особенно хорошо у него получались куплеты Курочкина. На бис он обычно исполнял песню ковбоя:

*Хорошо в степи скакать,
Вольным воздухом дышать,
Лучше прерий места в мире не найти.*

*Если солнце не печёт,
И лошадка не трясёт,
И пивные попадают в пути.*

Когда начинался припев, то зал начинал хлопать и подсвистывать, а Кузьма Андреевич, красивый, недостижимый всем смертным, начинал выделывать такие коленца, которые, наверное, и не снились ковбоям. На голове, едва держась за густую шапку чёрных волос, в такт прыгала и плясала его ковбойская шляпа. Позже, уже у себя во дворе, мы пытались воспроизвести его танец, но тут, как и в футболе, нужны были тренировки и особый дар ритмично двигать не только носками, пятками, но и руками.

Репертуар у нашего ковбоя менялся, но неизменным было одно: когда его приглашали выступить, он обязательно обговаривал свой гонорар. После концерта с совершенно случайными людьми он шёл в “Голубой Дунай”, где произносил знаменитое выражение артиста Шмаги, что мы артисты и наше место в буфете.

Бывало, его начинали стыдить, называть рвачом, но в ответ можно было услышать его коронную в таких случаях отговорку:

— Деньги есть — Кузьма Андреевич, денег нет — дворовый пёс.

Нам нравилось, что он разговаривает с нами, как со взрослыми, и что Кузя старался быть в курсе всех наших ребячьих дел. Идёт с концерта, остановится около нашей компании и спросит, как идёт у нас сбор денег на футбольный мяч. В нашу долю с покупкой футбольного мяча он решил вступить после одного несчастливого случая. Неизвестно откуда и как к нам попало металлическое ядро, которое используют атлеты на соревнованиях. И вот однажды, подражая спортсменам, мы катали его по дороге. И тут из-за угла неожиданно появился Кузьма Андреевич. Как всегда, он был навеселе, но на катящийся кругляк среагировал мгновенно. Кто-то, желая предупредить артиста, крикнул:

— Дядя Кузя, это ядро!

Кузьме Андреевичу было некогда определять, какое-такое ядро и почему оно катит навстречу. Видимо, желая показать былой навык, он что есть силы всадил ногой по шару. И тут мы увидели не танец ковбоя, а настоящую пляску святого Витта. Мы бросились на помощь и вскоре на какой-то попутной машине Кузьму Андреевича отвезли в травмпункт. Что он говорил в наш адрес — неизвестно. Недаром говорят: сердце забывчиво, а тело заплывчато. Мы же хотели, но не смогли его предупредить. Больше всех разозлился на нас Колька Дьячков. Он даже перестал пускать нас в дом, где с гипсом на ноге лежал Кузьма Андреевич. Колька был постарше нас и на наши уличные забавы смотрел свысока.

— Ну, что, псы троюродские, покалечили человека? — сказал он, выходя на улицу. — За такие дела головы отрывают.

В голосе Дьячкова появились милицейские нотки. Таким тоном обычно разговаривал участковый Леня, когда на мотоцикле с проверками приезжал к нам на улицу. Мы тоскливо помалкивали, а что даже на несовершеннолетний возраст возьмут и упекут. Но Колька был отходчивым парнем — у него-то ноги были целы.

— Кузьма вас не хочет видеть, — сказал он, когда мы попросились проведать Кузьму Андреевича. — Друзья нашлись. Лучше берите тяпки и прополите огород.

— Наверняка посчитал, сколько выступлений пропустит ковбой из-за травмы, — съехидничал наш вратарь Валера Ножнин. — У Кольки вместо мозгов — счёты.

Кузьма Андреевич не затаил на нас обиду, более того, после своего выздоровления предложил нам сброситься и купить футбольный мяч. И сам сделал первый взнос. Он дал нам красненькую десятку. Его жест мы оценили в полноценную чекушку, помня, что в мылзаводском магазине бутылка “Московской” стоила двадцать один двадцать.

— Чтобы не портили ноги ни себе, ни людям, — сказал Кузя. — А за огород спасибо.

После его взноса всё приобрело особый смысл. Мы тоже понесли свои затёртые медные пятаки и другую мелочь. Кузя старался быть в курсе, как

идёт пополнение кассы. Бывало, услышав на свой вопрос наше красноречивое молчание, тут же запустит руку в карман и, достав смятую трёшку, повертит её между пальцами — мол, дал бы больше, но сегодня на мели! — и сунет бумажку нашему казначею Олегу Оводневу. Затем, уже из другого кармана, достанет горсть слипшихся от долгого лежания конфет. Наши не привыкшие к подобной щедрости ребячьи сердца вздрагивали. Обычно мы довольствовались только что сорванной морковкой, а тут — на тебе, прилетела настоящая “Ласточка”.

— Я ведь тоже, только давно, играл в хорошей московской команде, — объяснял свой жест Кузьма Андреевич. — Зимой — в хоккей, летом — в футбол. Вот, например, что писали обо мне в заводской многотиражке, когда мы их команду разделили под орех:

*Кузьма Сверчевский — парень тёртый,
В атаке он похож на чёрта,
В лихом ледовом вираже
Летит к воротам в кураже,
И нет спасенья, нет брони!
Уймись мальчонка, отдохни,
Из нас не делай решето —
Уж лучше б ты играл в лото...*

Мы подозревали, что стихи о себе любимом были написаны самим Кузьмой, и дипломатично помалкивали.

— А чего не пошли дальше? Может быть, стали бы, как Бобров.

— Помешала травма, порвал мениск, — вздыхал Кузьма Андреевич и, улыбаясь, добавлял: — Как говорится, был бы конь хороший у ковбоя.

Конфеты были с белой сладкой начинкой внутри. Они тут же были поделены по справедливости, каждому по одной. Осталась одна лишняя. Я бы мог воспользоваться правом капитана и взять её себе. Но не взял. После недолгих препирательств конфету отдали самому младшему — Саше Иманову. Свою я сунул в карман для своей младшей сестры.

“Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба”, — тоненьким голоском, бывало, пела моя младшая сестрѐнка. Хлеб приносила не божья коровка, а мама, и мы сметали его в считанные минуты. Теплее на душе и в желудке становилось летом, когда в огороде подрастала морковка и лук. Зелѐный лук с хлебом и солью, — казалось, нет ничего вкуснее на свете.

Я смотрел на Кузьму Андреевича и думал, смогу ли я когда-нибудь вот так же раздавать конфеты и сорить деньгами. Наш уличный бандит Карнач, бывало, играя в чикку, после выигрыша бросал нам на драку-собаку медь. Кузьма Андреевич не бросал, он давал деньги, и делал это, как настоящий ковбой. Три рубля немного — всего три похода в кино. Но и этих у нас не было. Настоящий, кожаный футбольный мяч стоил дорого — сто тридцать рублей. Можно было купить кирзовый, который через неделю превращался в тряпку. Но нам непременно хотелось кожаный. Вскоре касса заметно прибавила, мы стали сдавать старьевщику кости, разные тряпки и металлолом. Самый большой взнос получился, когда мы перепилили брёвна бакенщику, дом которого стоял на Ангаре. Тот отсчитал нам аж двадцать пять рублей. Потом он предложил нам ловить брёвна на Иркуте, которые уплывали с лесозавода. За каждое бревно — рубль. Позже нам сказали, что за эти дела нас могли привлечь за воровство государственного имущества. Бакенщик учитывал и наш несовершеннолетний возраст, а сам потом каждое бревно загонял по десятке за штуку. Это позже мы вычитали, что все большие состояния нажиты нечестным способом. От Кузи мы утаивали, что вылавливаем деньги из мутной иркутной воды.

И вот наступил для нас тот счастливый день, мы поехали в город и в спортивном магазине купили настоящий кожаный мяч и принесли его Кузьме Андреевичу на пробу.

— Небось опять свинцом залили? — постучав ладонью по круглой, упругой коже и оглядев свою покалеченную ногу, спросил он.

— Да чо мы, совсем отпетые!

Кузьма Андреевич поставил мяч на землю, ещё раз глянул на нас, какая-то непривычная нашему глазу детская улыбка тронула его губы. По мячу он ударил почти без замаха, но мяч вылетел, как из пращи, попал в столб и, срикошетив врезался в окно Мутиным. Как на грех, Илья Мутин оказался у себя во дворе. Он схватил лом и, пробив мяч насквозь, выбросил его за ворота.

Сказать, что мы были убиты, — ничего не сказать. При первом беглом осмотре стало ясно: покрывка ремонту не подлежала.

— Увы мне, увы мне, соблазну лукаваго послушавшему, — обхватив голову руками стонал Кузьма Андреевич. — Помилуй мя, падшаго, Господи, Господи, помилуй мя, падшаго.

Затем молча взял пробитый мяч и ушёл. Свой очередной концерт на мясокомбинате Кузьма Андреевич обговаривал лично с секретарём профкома. Договорился, что он будет шефским. Но с одним условием. И красноречиво рассказал о наших футбольных затруднениях. И как он сам позже говорил, что попал в нужный час и в нужное место. Райком партии проводил летнюю спартакиаду дворовых команд, и мясокомбинату надо было выставить свою команду. И, о чудо, нашу ребячью делегацию пригласили в кабинет к начальству и предложили выступать за детскую команду “Пищевик”. После нашего согласия нам выдали уже не новый, но настоящий кожаный мяч, застиранные майки и стоптанные ссохшиеся от времени бутсы. Тренировать дворовую команду взялся Кузьма Андреевич.

— Что ж, времени немного. Но мы постараемся выступить достойно, — солидным, деловым голосом сказал Кузьма Андреевич секретарю профкома. — Будем готовиться. — Кузьма Андреевич сделал паузу и, глянув на меня, сказал: — Ты с ребятами подожди меня на улице.

Через полчаса он не вышел, а торжественно выплыл из дверей, и неожиданно перекрестился. Нам стало смешно, к чему бы это?

— Друзья мои, я ещё раз убедился, — подражая голосу знакомого нам всем отца Данилы, промолвил Кузя. — Господь всё видит и направляет наши стопы туда, куда надо. И, сняв невидимую рясу, уже голосом римского консула, которому рабы доверили начать битву с варварами, произнёс: — Прошу расписаться в ведомости!

После расписки, он начал выдавать нам талоны на питание, на которые можно было пообедать в столовой мясокомбината. Ходить в столовую было далеко, но Кузьма Андреевич и здесь нашёл выход, он договорился с заведующей и нам стали выдавать обеды сухим пайком. Вот так Кузьма Андреевич оказался той самой божьей коровкой, о которой пела моя сестра.

Свои занятия с нами Кузя начал с простого: он потребовал, чтобы мы не перемежали нашу речь нецензурными словами.

— Кто нарушит, тот будет лишён сухого пайка, — сказал он. — Второе: в команде должна быть жесточайшая дисциплина. Как в церковном хоре!

— Но мы же не поём, — возразил Олег.

— На поле команда — оркестр, а не отдельные водилы. Только в хорошей команде, если хотите — хоре, раскрываются настоящие таланты. Кто есть кто, на поле сразу же видно. Любая фальшивая нота ведёт к поражению.

— Вот увидите, он нас ещё псалмы заставит петь, — съехидничал сын Ильи, Герка Мутин.

— Так ты пойд и отдай ему талоны, — сказал я. — Или попросишь отца, чтоб он нам купил новый мяч.

— Стёкла не надо бить, — огрызнулся Герка.

— Тебя в команде никто не держит, — уже подражая Кузе, жёстко сказал я. — Надо будет — будем петь и псалмы.

От Кузьмы Андреевича мы узнали, как можно и нужно играть без мяча, замыкать дальнюю штангу, открываться на свободном месте, как правильно исполнять подкаты, делать ложные замахи, кто такой Бесков, Пеле и Ди Стефано, Нетто, в чём их сильные и слабые стороны.

— Не зарывайте свой талант в землю.

— А что такое талант? — поинтересовался Олег Оводнев.

— Вы не знаете притчу о зарытом таланте? — удивился Кузьма Андреевич. — У меня тогда вопрос: чему вас учат в школе?

— Там этому не учат. Там самые талантливые — это подлизы.

— Всё меняется, кроме одного, — помолчав немного, усмехнулся Кузьма Андреевич. — В древности талант был денежной единицей, серебряной или золотой монетой. Так вот, уезжая по своим делам, один господин оставил трём слугам таланты: одному пять, другому — два, а третьему один. Когда вернулся, узнал, что первый преумножил своё состояние и вернул господину пять талантов, а ещё пять оставил себе. Второй тоже не остался в накладе: пустил их в дело и вернул долг, оставив кое-что и для себя... “В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего”, — похвалил его Господин. Здесь подходит третий, получивший один талант и говорит:

“Господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в земле; вот тебе твоё”. По-нынешнему, засунул монеты в чулок.

“Лукавый раб и ленивый! — сказал господин. — Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет”.

— Какое отношение это имеет к футболу? Мы копили, вы нам давали монеты, а Илья взял и ломом.

— Плохой пример, — нахмурившись, сказал Кузьма Андреевич.

— Его Боженька накажет, — тоненьким голоском вдруг заявил Саша Иманов.

— “Не зарывай в землю...” Я имею в виду, надо больше читать, искать, в чём твоё призвание. В конце концов, не сидеть на одном месте и ждать, что тебе поднесут на блюдечке. — Кузьма Андреевич встал, сдвинул шляпу на затылок. — Ну, что, таланты, будем тренироваться!

Мы с должным вниманием выслушивали его рассуждения о тенденциях в мировом футболе, о наших перспективах и с нетерпением ожидали главного события — раздачи профсоюзных талонов. Получая паёк с копчёными косточками и сосиской, мы даже себе не верили, что судьба однажды повернётся к нам такой приятной стороной. Да мы теперь всех раскатаем под орех! И что скоро признанные мастера кожаного мяча и все болельщики Советского Союза будут выскивать наши фамилии в подшивках газет, ведь мы только начинаем, а они уже давно на пенсии! Всё бы ничего, но была у Кузьмы Андреевича слабость: как и все артистически увлекающиеся люди, он записывал. Подолгу и тяжело. Пьяный человек в тягость всем. Тут никакие рассолы не спасали, более того, Колька начинал грозить матери выгнать приживалу из дома. В такие запойные дни из дома Дьячковых с надрывом доносилась песня про сына рыбака.

*Я родился на Волге, в семье рыбака,
От семьи той следа не осталось.
Мать безумно любила меня, дурака,
Но судьба мне ни к чёрту досталась.
Я в родимой семье был работник плохой,
Не хотел ни пахать, ни портняжить,
И ушёл я с весёлой блатною братвой,
Приучился по свету бродяжить...*

Мы жалели Кузю и готовы были слетать в магазин и привезти ему пивка или чего-нибудь покрепче на опохмелку. Передвигаться самостоятельно ему было противопоказано, поскольку все знали: если он сам доковыляет до ближайшей точки, то обратно его обычно привозили, зимой — на санках, а летом — на тачке или на велосипедах. Кто-то из старших рассказывал, будто бы Кузьма Андреевич в прошлой недосыгаемой для нашего понимания жизни, учился в духовной семинарии, но за свои непотребные частушки, распеваемые среди братии, был изгнан, и далее у него начался непростой путь на подмостках и на подносок.

Всё сказанное о нём подтверждалось, когда к нам на улицу для разных треб прихожан приходил священник отец Даниил, служивший неподалёку в храме Михаила Архангела, где регентом служил когда-то наш Кузя. Отца Даниила, когда мама приглашала его к нам в дом, я почему-то боялся, поскольку мне казалось, что он видит всех насквозь и обязательно меня накажет. А наказывать было за что.

Кузьма Андреевич приглашал отца Даниила к себе, они садились за стол, хозяйка накрывала стол, причём Полина усаживала гостя рядом с фикусом, чтобы отец Даниил мог видеть передний угол, где на полочке, покрытой белой скатеркой, стояла икона Николая Чудотворца. Полина продолжала ходить в храм и петь на клиросе, и многие визиты отца Даниила на нашу улицу устраивались при её участии. Помолвившись, они принимались за трапезу. Полина за стол не садилась, стояла у двери: не так часто такой гость бывал в её доме.

Отец Данила с Кузьмой Андреевичем выпивали стопку-другую и между ними начиналась дискуссия о предназначении человека в этой жизни, о той роли, которую должен играть верующий человек в тех местах, где культурных людей раз-два и обчёлся.

— Я давно хотел поговорить с тобой, отец Даниил. Честно признаюсь, гордыня не давала, — начинал Кузьма Андреевич. — Много чего мне довелось испытать в жизни. И то хотелось попробовать, и другое. Мне доверяли, вот ты мне, отец Даниил, доверял?

— Кому многое дано, с того и спрос особый, — кивал головой отец Даниил. — Выбрать правильную линию в жизни непросто.

— Вот и я о том же! — восклицал Кузьма Андреевич. — Виноват я перед вами, да и перед людьми стыдно. Я ведь не совсем уходил из храма и не за деньгами, как многие думают.

— Решил у меня под боком водочки попить, — встревала в разговор Полина. — Вон и Кольку начал приучать.

— Я тебе слова не давал, — серчал Кузьма Андреевич. — Вот возьму и уйду. Завтра же.

— Отсюда, из предместья, две дороги: одна — в места, не столь отдалённые, другая — в диспансер, — спокойным голосом сказала Полина. — Да и куда ты, Кузьма, от себя уйдёшь?

— А ведь верно, куда? — подумав немного, сказал Кузьма Андреевич.

— Да бывает так, что выбор без выбора, — раздумчиво сказал отец Даниил. — Надо выбирать что-то одно.

— Когда-то я у бабушки нашёл Библию. Начал читать и вычитал: “Всё суета сует и томление духа”. Мудрый умирает наравне с глупым. Это мне крепко запало, — уже тише заметил Кузьма Андреевич.

— Слово из уст глупого губит его же, — подумав немного, ответил отец Даниил. — Двоим лучше, чем одному. Когда один упадёт, а другого нет, который бы поднял его.

— Отец Данила, нет человека на земле, который бы делал добро и не грешил бы.

Я здесь, на этой улице, своё детство увидел. Только уже взрослыми глазами. Непонятно самому, но захотелось мне не суеты, а той жизни, которая бы меня поглощала целиком. Признаюсь, своих детей не завёл, дома не построил, дерева не посадил. А вот в этих пацанах себя разглядел. Не того, который томится, а чего-то строит, созидает. И становится нужным людям.

— Ты их, — тут отец Данила показывал пальцем в открытое окно, где торчали наши головы, — развращаешь. Что ты думаешь, они не видят твои прегрешения?

— Скажи, скажи ему, батюшка. А то он не знает удержу, — вновь встряла в разговор Полина. — Бывает, его ребята на санках еле живого привозят.

— Уважаемая, ещё раз напоминаю вам, слово вам никто не давал! — обрывал её Кузьма Андреевич. — Я с ними общаюсь. Учу уму-разуму. И они меня кой-чему учат. Вот недавно, например, мы выиграли первенство района среди дворовых команд. Можем и мы, оказывается. А разговоров! И не только хороших. Многим не дают покоя талоны! Мол, я их чуть ли не все

прошил! Обижать детей — последнее дело. Они же голодные! А на пустой желудок, сам знаешь, не поётся и не играется.

— Ногами в жизни многого не добьёшься, — подумав немного, заметил отец Даниил.

— О, о, о! Руками они уже многое чего могут! — воскликнул Кузьма Андреевич. — Будьте уверены! Время у них сейчас самое опасное. Могут и туда, где Макар телят не пас, а могут и в другую, правильную сторону пойти. Вот что молодому парню надо? Образование — государство даёт, хорошее, плохое — не мне судить. А дальше? — Кузьма Андреевич махнул рукой. — От церкви, они, к сожалению, отгорожены. Тут и наше государство постаралось, и мы сами общего языка с ними не находим. А вот простые вещи им понятны. Они уже и сейчас понимают или скоро поймут: деньги есть — Кузьма Андреевич, денег нет — дворовый пёс.

— Не каждый и не сразу находит свой путь к Богу, — нахмурился отец Даниил. — Не сразу, но находят.

— Каждый зарабатывает себе на хлеб, как может, — уже не слушая своего собеседника, продолжил Кузьма Андреевич. — Один лезет с кайлом в шахту, другой выходит на большую дорогу, третья на панель. Ты крестишь, а я пою. Только не с клироса, а со сцены. Пою те слова, которые им понятны.

— Представляешь, кем бы стал Пушкин, если бы ему, младенцу, такие песни пела Арина Родионовна, — устало улыбался отец Даниил. — У тебя же, Кузьма, редкий слух. И на что ты его тратишь. Вспомни притчу о зарытом в землю таланте.

— Ты что, думаешь, я не помню! Я даже иногда эту притчу рассказываю.

— Кому?

— Ребятам.

— И что, понимают?

— Не все и не сразу.

— Вот мы, взрослые, и то не сразу друг друга понимаем, — засмеялся отец Даниил. — Сейчас у нас получается разговор глухого со слепым. Вот что тебе скажу, Кузьма. Возвращайся. Я вижу, не всё у тебя ладно.

— Знаешь, отец, мне одно время приходилось выступать в ресторанах. А рядом за столиками сидели девицы-танцовщицы и ждали, когда их снимут денежные клиенты. Я пел, они плясали.

— Есть одно церковное понятие — “плясания на позорищи”, — я имею в виду сцену. Это всегда считалось неприличным, и особенно если в нём участвуют женщины, поскольку возбуждают у зрителей страсть и похоть... Ну, мне уже пора, — устало сказал отец Даниил. — Пожалей Полину Ивановну. У тебя на душе неладно, и у неё от этого в семье пошёл разлад.

— Знаешь, отец, когда я прочёл Писание, то понял, я — пропащий человек! Мне так не жить, — уже другим, поникшим голосом, ответил Кузьма Андреевич. И помолчав немного, вдруг прочёл:

— *И я не верил правде той,
Боясь обмана, к истине ревную.
Представ пред Богом, всё ж
Смогу промолвить только: Аллилуйя!*

Отец Даниил обнял Кузьму Андреевича, троекратно расцеловал и хорошо поставленным голосом прочёл Пушкина:

*Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения.
Да брат мой от меня не примет осуждения,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.*

Полина Ивановна перекрестилась, затем подошла к отцу Даниилу для благословения, сказав, что сегодняшний день наполнил её сердце тихой радостью, и она благодарна Господу, что батюшка согласился посетить её скромную обитель.

— Всё в руках Господа нашего Иисуса Христа, — благословляя, сказал отец Даниил.

Что ощущает человек, который стоит не на сцене, а на улице, выставив своё творчество для продажи, я ощутил уже взрослым человеком. Однажды меня вместе с другими писателями пригласили поучаствовать в книжной ярмарке. У меня оставалась пара пачек своих книг, которые сохранились ещё с советских времён. Издавать книги и жить их изданием при наступившем капитализме стало непросто, приносишь рукопись издателю, он говорит: рукопись нас устраивает, но нужны деньги на издание. Тот счастливец, который находит деньги, должен вывезти тираж к себе домой или в гараж, далее начинался торг с продавцами. Те спрашивали, какая цена устроила бы автора? Если автор задирал цену, книгу возвращали: мол, продавай сам. И большинство, поторговавшись для приличия, соглашалась с грабежом. А это означало, что продавец, не пошевелив пальцем, не вложив и толики своих умственных способностей для издания, клал к себе в карман половину, а то больше стоимости проданной книги.

Я стоял за столиком в центре города на одной из самых населённых потенциальными покупателями торговой улице. Мимо тёк поток людей. Они в своих объёмных сумках в клеточку тащили свою поклажу, равнодушно смотрели сквозь наш небольшой строй, и я с каким-то отстранённым чувством смотрел на этих, непонятных мне людей, для которых торговля стало обыденным и привычным занятием; они растекались по переулкам, дворам и магазинам, заполняя всё пространство. Иногда из этой равнодушно текущей реки всё же выплывали люди с вполне осмысленным выражением лица, скорее всего, бывшие читатели; они подходили к столикам, смотрели обложки книг, затем листали страницы. И тогда у меня, как у охотничьей собаки, замирало сердце, я торопливо подходил к столику, думая, что, возможно, у людей появятся вопросы к автору. Но, видимо, у этих людей, как и у меня, не было денег, они листали книги из прежнего любопытства. До этого я уже успел для себя отметить, что всё же одному самому расторопному коллеге поэту удавалось всучить свои творения книголюбам или любителям автографов. Но для этого он проявлял незаурядную хватку.

И тут среди толпы я заметил одетого во всё чёрное старика. На ногах у него были старые стоптанные башмаки. Из-под рясы выглядывали обжжённые мятые брюки.

“Сегодня и священники живут небогато”, — подумал я и отвернулся. Священник прошёл вдоль столиков и неожиданно остановился около моего. Взял книгу, повертел её, раскрыл, полистал страницы, поискал кого-то вокруг глазами. Затем посмотрел на картонку, где была указана цена, полез в карман, достал смятую бумажку и положил в приготовленную картонку. И тут до меня сквозь толщу времени донеслось. Да это же наш ковбой — Кузьма Андреевич Сверчевский! Конечно, он сильно сдал, подсел, волос стало поменьше, они были какого-то серого мышинного цвета. Но это, несомненно, был он, тот самый Кузя, достопримечательность нашего детства! О том, что он ещё есть и топчет грешную землю, я даже и не подозревал. Слышал я, что Колька, женившись, начал диктовать свою волно, заставляя мать ходить только по одной половине. Доставалось и Кузьме Андреевичу, когда тот пытался помирить мать с сыном. Дело закончилось плохо: как-то утром нашли Полину Ивановну в петле. После похорон Кузьма Андреевич ушёл из дьячковского дома.

— В чём пришёл, в том и ушёл, — говорили на улице. Вызвал такси и, перед тем как забраться в машину, приподнял потёртую шляпу ковбоя, приветствуя тех, кто пришёл поглазеть на его отбытие с улицы.

— Грешен я перед Вами, люди. Простите, если сможете, — сказал он.

МАМА, СЕГОДНЯ Я ЛЕТАЛ ВО СНЕ

Самое первое, что я помню о маме, — это её подол и тепло рук, когда она гладила меня по голове перед сном. А перед этим мама обычно читала молитву. Слушая её шёпот, я ждал, когда она ляжет, чтобы, свернувшись калачиком, прижаться спиной к её мягкому животу и провалиться, отплыть в неосязаемую пустоту ночи. А утром, потрескивая и пощёлкивая горящими дровами, меня будила печь. Из кухни доносился запах хлеба, тепла и уюта, мама уже что-то готовила нам на завтрак. В праздничные и выходные дни, когда в доме была мука, она стряпала пирожки с картошкой и луком или, как она ещё выражалась, пыталась что-то сгоношить нам на завтрак.

Сегодня меня удивляет, как это она везде и во всём успевала: одеть, обуть, накормить большую семью, проверить уроки, сбегать в магазин, задать корм скотине.

Бывало, пойдёт доить корову, а я уже тут как тут, стою за её спиной с кружкой, смотрю, как тугие струйки молока вылетают у неё из-под руки и бьют в днище подойника. Закончив дойку, она подолом юбки подтирала мне нос, брала кружку и зачёрпывала парного молока.

— Пей и не болей, — приговаривала она.

По её словам, болел я часто, годовалого она отнесла меня в только что открывшуюся после войны церковь Михаила Архангела: если и умру, то крепённым.

Мы жили недалеко от города в предместье Жилкино, которое своим появлением было обязано Вознесенскому монастырю. Располагался он на холме, а через него проходил Московский тракт, который был окружён со всех сторон болотами, и дома, что лепились к нему, называли Барабою. Земли вокруг неё были приписаны к Вознесенскому монастырю, их и землями назвать было трудно: всё, что намёл, натащил за миллионы лет Иркут, осело вокруг монастырского посёлка, а сам Иркут, устав от вековых трудов, выбрал себе дорогу покороче, вдоль Кайской горы, напрямик пошёл в объятия к Ангаре.

А от неё чуть в стороне, в самой что ни на есть болотистой части, пристроились так называемые Релки. Эти ровные, приподнятые над болотом поляны годились разве что для покосов. Вот на них-то и довелось мне увидеть и почувствовать и тепло восходящего солнца, и холод долгих сибирских ночей. Летом во время дождей на Релки можно было добраться только на своих двоих, да и зимой разве что на лыжах: всё переметало снегом. Когда я в шесть лет запалил соседский сарай, и от него начали полыхать стена и крыша нашего дома, то все примчавшиеся пожарные машины застряли в первом же болоте. Хорошо ещё, что рядом, за другим болотом, стояла зенитная батарея, которую в начале Корейской войны установили для защиты заводского аэродрома, и поднятые по тревоге солдаты, таская из колодцев воду, кое-как справились с пожаром.

Сразу же за последним домом вокруг Релок начинались старицы, кочкарник, тальник и боярышник, тут же рядом — осока да камыш, настоящий рай для водоплавающей птицы. Неподалёку за лесочком, километрах в двух от нашей улочки, находилась летняя резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири, куда он выезжал для охоты на водоплавающую дичь. А после революции в нём расположили детский дом, куда нам было строжайше запрещено ходить. По слухам, ребята там жили рискованные, окружающий мир был для них почти под запретом, и они жили своей обособленной волчьей стаей. Это уже много позже, в десятом классе, когда нас сольют в один класс, я познакомлюсь с Петей Кудрявцевым, Володей Пекшевым и Валерой Козловым, которые ездили к нам в Жилкино из детдома, и обнаружу, что они сделаны из того же теста, что и мы — ребята из предместья.

Релки, хоть и значились предместьем Иркутска, но жили своим деревенским укладом: коровы, козы, куры, утки и поросята были самыми обыденным пейзажем дворов и улиц болотного, затерянного мира.

Своё первое жильё я запомнил маленькой избушкой, с распоротым от времени углом в северную, не закрытую домами сторону, зимой снегу наматало под крышу, а осенью под забором можно было набрать огромные охап-

ки круглых колпачков, которые все называли перекасти-поле. Отец купил избушку у железнодорожника за сто пятьдесят рублей, и прожили мы в ней до сорок восьмого года. А когда родился мой брат Саша, то родители решили построить новый дом, тоже засыпной, но уже большой, пять на шесть, так говорил мой отец. Когда старую избушку снесли и положили оклад, на который должны были лечь новые стены, мама, держа на руках закутанного в пелёнки брата, с удивлением покачала головой:

— Куда мне такой большой...

Это поначалу нам казалось, что дом большой, поскольку сами мы были маленькими. Но уже через несколько лет и он стал нам мал. А поначалу места хватало всем, даже курам, на кухне под столом находился курятник, а когда отеллась корова, то мама принесла телёнка в дом, и он до весны, чтоб не замёрзнуть в стайке, жил рядом с нами и спал на подстеленной ему соломе.

На Релках, как и везде в послевоенной стране, люди жили в основном бедно, как говорили, “от получки до получки”. С той поры, сколько я себя помню, мама то и дело ходила занимать деньги по соседям. И они, в свою очередь, приходили по своим надобностям к нам. В те времена жили не таясь, всё зная друг про друга и помогая при случае, чем могли. Так совместно и выживали. Но одно дело, когда идут к тебе, другое дело, когда занимаешь ты. Мне, например, это не нравилось. Думаю, не нравилось и моей маме. И однажды этим я вслух поделился с маминой подругой тётей Надей Мутиной.

— Я не буду жить так, как мои родители, — сказал я.

— А как же будешь ты жить? — поинтересовалась тётя Надя.

— Не буду занимать деньги, — подумав, ответил я.

Когда её муж Фёдор с моим отцом уезжали в тайгу на Бадан-завод заготавливать клёнки для бочек, она, чтобы ей было не страшно одной, брала меня к себе. В ту пору у тёти Нади ещё не было детей, дом у них был большой, можно было готовить уроки не при свете жировика, а при керосиновой лампе. И спал я у неё на отдельной кровати. В ту пору, когда я пошёл в школу, электричества на Релках ещё не было, и по вечерам всё совершалось вокруг керосиновой лампы. А если керосин заканчивался, то мама зажигала на блюде промасленный жгут. И чадил он на весь дом. Перед своим дом проветривали, а утром, частенько — в потёмках, каждый искал свою одежду. Если к тому времени уже топились печь, то мама открывала одну конфорку, и мерцающий над печкой огонь начинал прыгать по потолку, стенам, до неузнаваемости меняя наши лица.

Мама, когда я попросил у неё три рубля на билет в кукольный театр, который в кои-то веки приехал к нам в предместье и показывал в мылзаводском клубе сказку Ершова “Конёк-Горбунок”, вздохнув, пошла искать деньги по соседям.

После я возбуждённо показывал дома, как летал по воздуху Конёк-Горбунок, и, уже засыпая, совсем неожиданно для себя добавил, что и я, как Конёк-Горбунок, тоже летал во сне.

О том, что есть самолёты, я узнал с первого выхода на улицу. Прямо над нашим домом заходили на посадку самолёты, одни — на городской аэродром, другие — на заводской. А бывало, смотришь в окно: высоко за стеклом, оставляя за собой тонкий белый след, по своей надобности шли одинокие высотные самолёты. Местная ребятня, завидев летящую машину, начинала кричать: “Ароплан, ароплан, посади меня в карман!”

Мечтая попасть в карман аэроплана, кричал и я, завидев железную птицу.

— Это ты, сынок, растёшь, — улыбнулась мама, услышав мои рассказы о полётах во сне. — Я тоже летала, только это было давно.

Она сидела за швейной машинкой и вслух мечтала: вот бы сейчас выиграть по облигации сто тысяч рублей. Я спрашивал, что бы она сделала, если бы такой выигрыш случился. И тогда она давала волю своим мечтаниям. Но мне не нравилось, что, по её словам, почти все деньги она раздала бы своим сёстрам и братьям.

— Мама, а мы богатые или бедные? — спросил я её.

— Мы? — она внимательно посмотрела на меня. — Мы — как все. Но всё в руках Господа нашего Иисуса Христа. Не мы одни такие.

Нет, так жили не все! Где-то в восьмом классе я зашёл к своему другу Витке Смирнову. Его отец работал директором “Скотоимпорта”. И увидел, что у Витки есть свой рабочий, накрытый стеклом стол, письменные принадлежности, рядом на стене — книжные полки, этажерка, а на стене — расписание уроков. А ещё у него была собственная кровать. А мы мостились на одной кровати вчетвером, укладываясь спать валетом. И стол был один, на котором обедали, делали уроки и на котором мама постоянно что-то шила на машинке. Надо сказать, машинка была хорошей фирмы — “Зингер”. По-моему, это была самая ценная, конечно, не считая отцовского баяна, в доме вещь. Перед тем, как мне пойти в школу, мама сшила мне штаны, да не одни, ещё и утеплённые из старой фуфайки, с обязательными ляпочками через плечо, курточку, рубашку и даже брезентовую сумку. А на ноги купила маленькие кирзовые сапоги, которыми я очень гордился, считая, что в них я похожу на настоящего солдата. Тогда мне хотелось поскорее стать взрослым и обязательно стать военным. Но обновки не держались долго, одежда буквально горела на мне, то и дело являя миру дыры на коленях и на задку.

— Ну, чего ты крутишься на одном месте, — вздыхала мама, накладывая очередную заплатку. Так, с заплатами на коленях и других местах, я и проучился десять лет. Конечно, заплатки не появлялись сами по себе, в тех же школьных штанах я лазил по заборам, крышам, гонял по улице мяч. Бывало отец, починив протёртую до дыр подошву валенок, смешно поднимая ноги, начинал показывать, как надо правильно ходить, чтобы обувь держалась дольше. Но его советы я помнил до первой ледяной катушки, по которой, разогнавшись, скользил на подшитых резиной валенках, как на коньках.

На выпускной вечер мама купила мне чёрные шерстяные брюки. А сама пришла в школу из магазина, где работала уборщицей, в серенькой застиранной кофте и такой же серой юбке, как собралась на работу, в том и пришла, её в буквальном смысле этого слова вытолкала в школу на мой выпускной вечер заведующая магазином Тыкманова Татьяна.

— Анна, иди, — сказала она. — Это и твой праздник — вырастить и выучить сына не такое простое дело.

Меня хвалила со сцены наша классная Елизавета Иннокентьевна, говорила, что я хороший, способный и умный, а я сидел, сжавшись, и думал: уж это точно не про меня. Мама присела на лавку с краю, чуть отодвинувшись от остальных родителей, где посреди зала, напротив президиума, в праздничных нарядах расположились Смирновы, всем своим видом демонстрируя, что они здесь чуть ли не главные участники торжества.

После выпускного вечера мы с Виткой Смирновым и Володькой Саватеевым подадим документы в лётное училище. Но поступлю только я. А тогда, на выпускном вечере, мама, забрав у меня аттестат зрелости, поцеловала меня и незаметно ушла. О чём думала она тогда? В тот день, когда для меня прозвучал последний звонок, хоронили моего отца. Его убили в тайге за мешок орехов. Перед этим они с мамой решили строить новый дом, он уехал в тайгу на паданку, чтобы заработать и купить доски, цемент — всё, что нужно для строительства нового дома.

Конечно, мама радовалась, что я окончил школу, сходу, один на всё предместье поступил в лётное, и горевала, что отец не дожил до этого дня. Обо всём, что она чувствовала в то горькое для неё лето, много позже рассказала наша соседка Валентина Оводнева, вспоминая мою маму, добавив, что мною мама гордилась. И я запоздало пойму, что мой выпускной вечер был для моей мамы наполнен тихой, не наряженной в шелка радостью.

Когда на маму сходило хорошее настроение, она могла горы свернуть, становилась на редкость расторопна и деловита, торговала кедровыми орехами и ягодой, которую из тайги привозил отец. А если дела у того шли хуже некуда, и в доме, как говорили, самое время класть зубы на полку, она собиралась и ехала в свою родную деревню. Но вначале ехала в город и закладывала в ломбард своё единственное выходное пальто. На вырученные деньги покупала дрожжи и уезжала на железнодорожный вокзал. Там она сади-

лась в “Колхозник” и ехала до Куйтуна, а дальше шла пешком или на попутной подводе добиралась до Бузулука, чтобы уже среди своих, деревенских, обменять дрожжи на яйца, сметану, деревенские сало и хлеб. А мы её потом с отцом встречали на вокзале во Втором Иркутске.

И ещё была в ней, как говорили наши многочисленные родственники, “простодырьность”. Придут гости — она всё, что привезла, ставила на стол. Да ещё даст в дорогу гостинцы: сало, банку с вареньем, кастрюлю с огурцами. И гостей на ноябрьские и в Новый год набивалось столько, что половицы гнулись от деревенской родни. И все они, приезжая в город, почему-то останавливались у нас. Думаю, что расчёт был прост: люди идут и едут туда, где хорошо принимают. Да и городские родственники были не прочь погулять на Релках день-другой. А ещё приходили жившие неподалеку папины и мамины друзья и знакомые, каких-то случайных людей привечал отец, и они жили иногда месяцами. И мамины подруги прибегали, когда их суженные, напившись, гнали из дома.

Гостей она любила — тогда она становилась центром разговора, и можно было обсудить все поселковые новости, поделиться, кто и как учится, какой фасон платья нынче в моде. Купить и поносить — это уж как Бог даст, а вот помечтать и обсудить наряды Ладьиной или Серовой и помыть косточки местным модницам — это всегда пожалуйста. Мужчины тем временем за бутылочкой обсуждали войну в Корее, атомную бомбу, китайских добровольцев, которые чистят морду дяде Сэму. Тут поднимался папа и читал собственноручно сочинённые строки:

*Ах, дядя Сэм сорвался с кондачка
И бросился в истерику.*

Тут папина рука взлетала вверх, чтобы через секунду с высоты точно топором по чурке рубануть воздух и показать, что будет с поджигателями новой войны:

*Россия атомом крепка —
Дерёт теперь Америку!*

Откуда-то из-за печи, где я сидел около патефона, ожидая команды крутануть очередную пластинку, я внимательно смотрел и слушал, чтобы потом в школе пересказать и показать ребятам, как я тоже ладонью рублю воздух. Каким-то непонятным образом ту сцену пересказали учительнице Клавдии Степановне, на другой день маме приходилось оправдываться за меня и за отца.

— Что же он у вас такой простодырьый? Что услышит, то выскажет, — посочувствовала учительница. — Вы уж скажите ему: не обо всём нужно рассказывать в школе, что происходит дома. Недавно я его попросила прочитать про крейсер “Варяг”, так он читал так, что мы решили послать его на конкурс чтецов. Думаю, что там он всё расскажет без картинок.

— Нет-нет, он понятливый, — с облегчением поддакнула мама. — Всё покажет, как надо.

— Не изба, а клуб, — сообщила она о визите в школу, — и свои артисты.

— А меня вот в школьный хор записали, — похвасталась старшая сестра.

— Я и говорю, артисты погорелого театра, — вздыхала мама, словно речь шла о чём-то неизбежном — дожде или снеге. И тут же добавляла: — А, ничего, один раз живём! Только ты, отец, прежде чем что сказать, сто раз подумай.

— Зато все теперь знают: Россия атомом крепка, — отшучивался отец, пытаясь скинуть вверх правую руку. — Николай! — предостерегающим голосом останавливала папину руку мама.

Гости были разными, порой и опасными. Однажды к нам на несколько дней заехала красавица Галя, которую выслали с Западной Украины на поселение в Сибирь. Бывшие бандеровцы работали на заготовке клёпки далеко от

города, в глубине сибирской тайги. Отец с Фёдором Мутиным ездили туда вольнонаёмными, там можно было хорошо заработать. Чернобровой, с певучим и почти непонятным для меня выговором Гале нужно было показаться врачу, и отец предложил ей остановиться у нас. На ноябрьские праздники к нам приехала родня из деревни. Когда гости подвыпили, дядя Артём, узнав, что его соседка — с Западной Украины, сообщил, что до сих пор носит пулю, полученную от бандеровцев на Украине. И тут Галю точно взорвало. Видимо, ей в голову ударила вышитая бражка. Опрокинув стол, она начала ломать лавку и топтать попавшую под ноги посуду, выкрикивая что-то про самостийную Украину. Галю насильно утихомирили, связав руки полотенцем. Ошеломлённые гости смотрели на её выходку с той жалостью, с которой смотрят на умалишённых. Вечером, когда гости разошлись по домам, а дядя Артём по своей солдатской привычке расположился на полу, утихшая и освобождённая от полотенца Галя начала помогать маме утверждать на место порушенное, оправдывалась и очень переживала, что отец может заявить на неё или вытурить из дома.

— Успокойся, — тихо отвечала мама и, помолчав, добавила: — Только зачем было посуду бить?

— Я все верну. Шоп мне сдохнуть на этом месте, — скороговоркой начала частить Галя. — Шоп мне век ридной Украины не видать.

— Да ладно, иди спи, я тебе за печкой постелила, — устало сказала мама, — только потише, там сын спит.

Нет, я не спал. Да разве после такого уснёшь! Сидели, пили, пели песни, веселились. И тут на тебе! Сколько же надо было накопить в себе злобы, чтобы такое сотворить? Я пододвинул к себе утюг — так, на всякий случай.

Утром чуть свет, точно своих забот ей не доставало, мама повела Галю в больницу к знакомому врачу. И в этом для неё не было ничего особенного.

Какие-то выводы для себя я делал, и о том, что происходило в нашем доме, уже не трезвонил всему миру. Сидел на брёвнах, щёлкал орехи и поглядывал в ту сторону, откуда должна была появиться мама. Едва завидев её, бежал ей навстречу. Как всегда, она шла, нагруженная сумками. Нет, чтобы помочь, поднести — так я сразу в сумку: что там? — и тут же в рот.

Когда мама была дома, мы знали: будем сыты и накормлены. Обычно она жарила сковороду с картошкой и горбушей. Или мои любимые драники. От постоянной работы с ножом у неё даже на указательном пальце образовалась выемка. Только начистит, нарежет, накормит, как снова к станку, снова нож в работе, тряпки и кастрюли под рукой, и так каждый день: завтрак, обед, ужин. Когда всё было готово, она ставила большую чугунную сковороду посреди стола, а мы уже наготове с ложками. Отец, как и положено, садился во главе стола, вилкой или тупой стороной ножа колот и раздавал нам кусковой сахар. А вот маму я почему-то не помню за столом: чаще всего она только подавала еду да мыла потом посуду. Наша задача состояла в том, чтобы быстрее опорожнить сковороду.

Отца я всего один раз видел плачущим. На Рождество мы всей семьёй сели за праздничный стол. Он, как всегда, в чистой, нарядной рубашке сел на своё место. И тут по радио начали передавать концерт знаменитого в те времена баяниста Логинова. Виртуоз, маэстро, отец его очень уважал. И слушая его карело-финскую польку, отец неожиданно расплакался: самой большой его мечтой было научиться играть на баяне, как Логинов.

Баян у нас в доме был главной достопримечательностью. Надо сказать, что отец был знаменитостью, для починки баянов к нему приезжали даже из города. Он и сам делал баяны, приносил бруски и доски из бука, вырезал латунные планки, вытачивал и клепал к планкам голоса. При этом делился со мной секретами мастерства:

— Чтобы голос был ниже — обтачиваешь у основания, выше — делаешь тоньше конец, — говорил он и тут же добавлял: — И уж если делать, то клавиши из перламутра, меха из прищипанта, а ремень у баяна должен быть кожаным с витой, узорчатой прошивкой.

Мама, да и мы все, очень любила, когда дома пели песни.

— Валенки, валенки, — подыгрывая себе на баяне, напевал отец, а иногда шутя переиначивал песню на свой лад:

— Катанки, катанки! Ох, не подшиты стареньки. — А потом, войдя в раж и вспомнив своё деревенское, кимильтейское детство, переходил на озорные частушки.

Мама тут же начинала ругать, мол, ты чего это, дуралей, распелся, ведь дети слушают. А он сидит у печки, в уголке рта прилипла потухшая сигарета, но поправку всё же делает, и уже наяживает “Подгорную”. А потом улыбнётся и вновь запоёт свои любимые “Валенки”. Мама посмеётся и попросит, чтобы он сыграл:

Друзья, люблю я Ленинские горы.

Но больше всего мне нравилось, когда мама запевала песню фронтового шофёра, где были такие слова: “Помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела!”

Мама часто болела. Но когда она запевала, что помирать нам рановато, то мне казалось, что мама будет жить вечно, поскольку этой песней она не давала смерти своего согласия, чтобы она её забрала.

Отца часто не бывало дома, он любил тайгу, рыбалку, а вот работать долго на одном месте у него не получалось. Когда он был дома, то к нему шла вся улица: отремонтируй, запаяй, сделай горбовик, совок для сбора ягод, нож. И он делал. Особенно надоедали владельцы гармошек и гитар. Те могли прийти к нам не только днём, но и ночью.

— В самый неподходящий момент сломалась, — оправдываясь, говорили они. И показывали разбитую вдребезги гитару. Чуть позже выяснялось, что лирический инструмент был применён в пьяной разборке в качестве последнего аргумента, коим была удостоена голова Кольки, который уже ходит по улице перевязанный.

Отец заваривал казеиновый клей, выстругивал из бука или липы дощечки, освобождал струнный инструмент от изуродованных частей, затем вырезал из тонких заготовленных дощечек заплата, вставлял и закреплял клеем половинные части, заново покрывал гитару лаком и выдавал на руки уже пригодный для следующих ристалищ и сражений за женские сердца инструмент.

Куда более сложная работа была с баянами. Папа разберёт пострадавший баян на косточки, разложит на полу и начинает соображать, потом лезет на крышу, где у него оборудован верстачок, вытачивает и высверливает планки, голоса, клавиши. А тут мама придёт, и — на тебе, знакомая картина: не дом, а мастерская, прямо на самом видном месте. Нет бы починить, залатать забор, доски из которого часто шли зимой на растопку, накормить скотину, а тут одно и то же: муж работает на чужих дядей и тёток. Как известно, любому терпению есть предел. Вот и мама возьмёт и сорвётся, схватит эти планки и валики — и в огород.

И тут наступал конец семейной идиллии. Отец спускался с крыши и, увидев наведённый разор, начинал кричать:

— И кто тебе позволил такое сотворить? Это ж музыка!

— Да, музыка, но её в живот не запишаешь! — плача, говорила мама.

И мы тоже начинали в один голос реветь. Мама посмотрит на нас, на отца, махнёт рукой:

— Ушла бы, Николай, от тебя, куда глаза глядят, да вот их, — она показывала глазами на нас, — жалко.

Для мамы самыми главными праздниками были Рождество и Пасха. Перед Рождеством она затевала большую стирку. Помню, как она приносила с мороза чистое, пахнущее свежестью бельё. Я удивлялся, что мороз сушит мокрую ткань, вдыхал уличную свежесть; смотрел на стёкла, исписанные узорами, и пытался срисовывать их угольком на белёной печке, пока на ней не останется ни одного чистого места. Мама посмотрит-посмотрит на моё художество, вздохнёт, затем разведёт известьку и набело покрасит ею тыльную сторону печи, где на сундуке, подстелив фуфайку, я засыпал среди белого дня. А после напечёт пирогов, а на Пасху — куличей, и к нам, зная мамино гостеприимство и умение готовить, опять соберётся многочисленная родня.

Мы же при первой возможности бежали на улицу — там, среди детворы, праздник был полнее и ярче. В святки мы обычно ходили колядовать. И здесь, как мне кажется, лучше всего проверялось, кто есть кто на нашей улице: кто прижимист, более того — жаден, а кто весел и щедр. Надо сразу сказать, что щедрых было немного. Бывало, на святки мы заходили в такие дома, которые в обычной жизни обегали стороной, уже зная, кто чем дышит и как там относятся к таким, как мы, попрошайкам. Но всё равно заходили проверить то, что было проверено не раз: ведь колядки же! Зайдешь и от порога писклявым голосом начинаешь причитать:

— Коляда, коляда, подай пирога, наступает торжество, с нами звезда идёт, молитву поёт.

А уж после и *Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...* — я замолкал, припоминая, что там дальше. И если хозяева начинали настаивать, чтобы я пел дальше, здесь по заранее разработанному плану вступал в дело мой дружок Вадик Иванов и пускал в ход придуманные сочинялки:

— Маленький хлопчик сел на снопочик. Соседи подали — здоровыми стали, а рядом не дали — коровы пропали!

Походило, конечно, на вымогательство, но помогало. Глядишь, хозяева начинали смеяться и подавали. Иногда спросят: кто научил? Пожмешь плечами: мол, чего спрашиваете — улица научила.

Бывало и по-другому: пропойшь, прокричишь и ждёшь, подадут или нет. Шмыгин, прежде чем дать, долго думал, как бы от нас полегче отделаться? Не дашь — скажут жадный, но всё же находил выход, срезал с ёлки конфету, и мы довольные высказывали, чуть-чуть стыдясь за себя, да и за него тоже. Но чаще всего шли туда, где встречали и радовались празднику вместе с нами.

В нашем доме было по-другому. Отец подтаскивал к дверям мешок с орехами и всем, кто заходил к нам колядовать, отсыпал в карман по кружке калёных орехов. Да ещё ворчал, если карман оказывался дырявым. Вся уличная ребятня шла к нам гурьбой, дверь не закрывалась, улица знала: в нашем доме насыпают сполна. Некоторые даже умудрялись зайти по нескольку раз.

Отец смеялся и повторял мамины слова:

— Один раз живём, а ребяткам радость — пусть щёлкают, ведь Христос родился.

После праздников отец обычно уезжал в тайгу и через некоторое время привозил огромный крапивный куль чистого ореха. Когда в тайге был урожай, мама могла уже не бегать по соседям занимать деньги, вдоль заборки стояли мешки с орехами, и двери в наш дом не закрывались от гостей. Теперь уже шли к нам посидеть, пощёлкать орехи, обсудить уличные новости и заодно озадачить моего отца обычными просьбами: почини, запаяй, отремонтируй. Как я уже говорил, за свою работу отец денег не брал.

Отец очень завидовал своим младшим братьям и сёстрам, которые были с высшим образованием. Все, за исключением Леонида, — тот пошёл по стопам отца, решил стать шофёром. Первые экзамены у него принимал отец. Достав деревянную толкушку, он изображал из себя регулировщика и строгим милицейским голосом требовал объяснить тот или иной жест орудовца. Когда Леонид сдал на права, они с отцом обмывали их с весёлыми разговорами, деревенскими частушками и шутками. Припоминается, что отец давал своему младшему брату и первые уроки игры на баяне. Пытался он обучить и меня, но ничего путного из этого не получилось — меня больше привлекала улица. А ещё помню, как отец сажал меня рядом и учил, как правильно подшивать валенки, как сучить дратву, как править гвозди. Я сидел на стуле и душил глазом в окно, за которым слышались ребячьи крики и смех.

Там, среди друзей, я находил применение другим, уже не музыкальным способностям. Сегодня, вспоминая, сколько я переделал общественной работы, грустно улыбаюсь: вот бы всю затраченную мною энергию направить на домашние дела — мне бы не было цены! Но, увы! Рытьё окопов, штабов, сооружение снежных крепостей, расчистка от снега пруда, укладка дёрна на футбольном поле, пилка брёвен, чтобы заработать на мяч, волейбольную

и футбольную сетки, гетры, майки. Учёба и всё прочее были на втором плане, так, всё на ходу, благо память была хорошей. Но слова отца, который говорил об упущенном времени, когда близок локоть, да не укусишь, засели надолго. Но не разорваться же! Хотелось одно, другое и третье... А вечером — лишь бы доползти до койки. Мама подойдёт, поправит одеяло.

— Совсем убегался, — скажет тихо, а потом по своему обыкновению прочтёт на ночь молитву, скажет: “День и ночь — сутки прочь”. И я проваливался в темноту. А утром вновь в школу, потом снова по огородам и боярышникам.

Мне нравилось, что она нередко нахваливает меня своим подругам. Чтобы получить очередную похвалу, однажды я прямо в ботинках бросился по воде на островок, собрал и принёс отложенные там утками яйца. За такую прыть мама отругала меня, поскольку на дворе было холодно, и я мог заболеть.

Если у меня возникали проблемы с учителями, то отец начинал стращать: будешь плохо учиться, придётся всю жизнь гайки крутить да сопли на кулак наматывать. Сейчас, вернись моё детство, я был бы самым прилежным учеником. Но локоть близко, да не укусишь. Однажды, когда на меня за очередное художество вновь пожаловались из школы, он велел стать в угол. Но этого ему показалось мало, он надел мне на голову эмалированный тазик.

— Ты думаешь, я тебя на божницу посажу. Стой здесь и знай: в следующий раз поставлю коленями на горюх.

Я уже привык к похвалам, а тут на тебе: выставлен на всеобщий срам! Впрочем, тот случай был единственным, но запомнился на всю жизнь. И всё же мною родители, в основном, гордились, мол, учитея хорошо, всё схватывает на лету. Мама часто ещё не то жаловалась, не то хвалилась учителям, что я зачитываюсь книгами буквально до утра.

Бывало, устраивали мы в доме по вечерам самодеятельность: мама сидит, вяжет носки, рукавички или кофту, отец у печки с баяном, а мы показываем им концерт, поём, читаем, наряжаемся в разные одежды.

— Хоть маленько, но красненько! — смеялась мама, когда я выходил на середину избы и объявлял, что сейчас будет выступать заслуженный артист из погорелого театра. И добавит: — Что не дурно, то потешно.

У отца были свои пословицы, они касались в основном его жизни, его представлений о том, что хорошо и что плохо.

Это были лучшие моменты нашей семьи, нашего совместного проживания в засыпном доме, который отец решил снести и построить новый, из шлакобетона, когда у нас родилась младшая — Лариса. Но этому было не суждено сбыться...

Отец и мама почти одновременно выехали из своих деревень, которые находились в Куйтунском районе. После революции, в начале тридцатых годов, отец батрачил на заимке на родного брата отца, дядю Алексея. Наш дед Михаил зарабатывал на прокорм многочисленных детей, а их у него было одиннадцать человек, тем, что ездил по деревням с фотоаппаратом и делал фотографии. С ним рассчитывались продуктами: кто насыплет в сумку картошку, кто положит кусок сала, пакетик крупы. Большим подспорьем и помощником в семье был мой отец. Он ловил рыбу вёдрами, собирал ягоды тоже вёдрами, орехи — мешками, бывало, приносил за один раз по восемь, а иногда и по десять зайцев. На них он ставил петли. И, как вспоминал его брат Владимир, любил подшутить. Тащатся они по тропе с добытыми зайцами, отец забежит вперёд, спрячется за пень и потом неожиданно выскочит и заорёт, как медведь. Мне, когда уже я стал ездить с ним в тайгу, такие проделки он устраивал регулярно. Но и за своих младших братьев и сестёр умел постоять, бывало, что даже укрывал от бича своим телом.

Дядя Кеша, когда на Радунцу мы встретились на кладбище на могиле отца, вспомнил, что в голодные тридцатые годы они с моим отцом и с младшей сестрой Анной собирали на поле колоски. И тут их застучал объездчик и начал хлестать нагайкой. Так мой отец, дядя Кеша называл его браткой, прикрыл его своим телом. Тогда они моего папу принесли домой на руках.

Много позже мне доведётся побывать на родине отца в Кимильтее. Я пройду по улице, где когда-то стоял огромный бревенчатый дом, загляну

в огород, где до сих пор тёмными окнами глядел старый сарай, затем зайду в церковь, где крестили отца, поставлю свечу. Уезжая, мы проехали мимо пруда, на котором отец в детстве, катаясь на коньках, как он рассказывал, не удержался и ударился головой об лёд. И я не раз падал на лёд, но я-то считал себя спортсменом, играл даже за хоккейную команду, а вот отец после того падения навсегда забыл о коньках, и мне было его по-настоящему жаль. Да и работать он начал гораздо раньше меня, уже в четырнадцать лет был кормильцем огромной семьи, где только детей было одиннадцать человек.

Позже отец уедет в город, даже не уедет, а сбежит с заимки. На заимку его отправил отец, то есть мой родной дед Михаил. Надо было кормить разрастающуюся семью, вот и пристроил он моего отца на работы к своему брату. Там, на заимке, вспахивая целину, отец не доглядел, и лошадь поранила ногу. Дядя Алексей кнутом жестоко избил папу. А было в ту пору отцу всего-то шестнадцать лет. И папа, по его словам, не выдержав издевательств, убежал с заимки, уехал в город, вернее, в его предместье Жилкино, где началось строительство мясокомбината. Там он устроился разнорабочим, а чуть позже выучился на шофёра. Я гордился, что отец может и лошадь запрячь, и огород вспахать, и делать многое-многое другое.

А то, что пахать землю совсем не простое занятие, я почувствовал на собственном опыте, когда купил в деревне Добролет участок и решил вспахать огород. Сосед одолжил мне лошадь с плугом, но поскольку он был не в состоянии после бани сделать и шагу, предложил мне пахать самостоятельно. В памяти у меня ещё осталась картина с отцом, который ловко управлял лошадьёю на нашем огороде. И я самонадеянно решил: уж если я управляю самолётом, то здесь справлюсь наверняка. Первую борозду я осилил с трудом, а вот параллельной не получилось, лезвие плуга скользнуло в уже проложенную борозду. И так в третью и в следующую попытку. Вся деревня собралась внизу и смотрела, как лётчик порхает вокруг лошади. Намучившись, я попросил вспахать огород соседа Вячеслава Седловского, пообещав ему привезти насос-малютку. Ударили по рукам. Седловский был сослан с Западной Украины и жил на том же Бадан-заводе, с которого приезжала к нам Галя. Был он сыном бандеровца и советскую власть, мягко говоря, недолюбливал. В Добролете у него было самое крепкое хозяйство, впрочем, и другие ссыльнопереселенцы с Западной Украины не бедствовали, у каждого было по несколько коров, бычков и тёлоч. Держали и поросят. Но отношения с соседями были особенными: следили друг за другом почище любых агентов. С Седловским мы сошлись на том, что он, оказывается, знал моего отца по работе на Бадан-заводе, где ссыльные и наёмные из города заготавливали клёпку. Седловский работал подручным у моего отца, и тот частенько привозил ему из города разные инструменты и детали. Я как бы принял эстафету от отца. Седловского привлекало то, что я мог привезти вещи и механизмы, которые днём с огнём было не достать в нашем городе. Седловский подрегулировал плуг и показал, как надо правильно пахать землю. А вечером за столом, выпив пару, как он говорил, “румок” водки, признался, что правильно регулировать плуг его научил мой отец.

А мама после случайного убийства ножом в девятнадцатом году в селе Бузулук отца Семёна в деревенской разборке была вскоре отдана в няньки к своим дальним родственникам — Жуковым. А когда в Жилкино началось строительство мелькомбината, уехала из деревни. Произошло это в 1934 году. Она устроилась на стройку мелькомбината, тогда это была ещё деревня Жилкино, и там вместе с другими такими же девчонками стала замешивать и носить жидкий раствор. Вот там-то, на Барабе, она и познакомилась с отцом. У них будут рождаться и умирать дети, всех я не помню, только первенца Юру да Веру, которых мама часто в разговорах с соседями называла ласково Юрочка и Верочка. Я ещё помню фотографию, где они с мамой стоят у покойного моего старшего брата. Отец в кожаном пальто, мама в тёмном пальто. Склонились в первом для них совместном горе...

Мама, которая помнила себя ещё по жизни в Орловской губернии, в деревне Полосково, рассказывала, что её маленьким ребёнком во время Столыпинской реформы привезли в Сибирь, в село Чеботариха, где им пришлось корчевать лес, строить дома. Некоторые не выдерживали и уезжали обратно

в Расею... Часто к нам приходила её старшая сестра Анастасия, которая вспоминала ещё о той, об орловской жизни.

— Орловцы — шалёные овцы, — так иногда в шутку называла она всю родню, которая приехала в Сибирь. Мне нравилось, как моя мама называла её детским прозвищем — “нянька”. В начале тридцатых годов тётка Настасья вышла замуж за Фёдора Приземина и переехала к его родне в Жилкино. Вскоре к ней на Барабу из Бузулука перебралась и моя мама.

Тётя Настасья вспоминала, что после знакомства с Николаем — моим отцом — мама вдруг засобиралась обратно в деревню: у неё с отцом, когда они ещё не поженились, произошла размолвка, и она ушла от него к своей подружке Почекунихе. И отец пришёл к тётке Настасье и со слезами в голосе сообщил, что Нюра, так он называл мою маму, куда-то пропала. Тётя Настя сказала, где её искать. И после этого они уже начали жить вместе, отец купил на Релках у железнодорожника маленький домик, в котором появились Алла, Людмила, затем я.

У моей мамы были красивые густые чёрные волосы, все женщины на Релках завидовали её волосам. А вот отец этим похвастаться как раз не мог. Она называла его отцом, Николаем, а когда разозлится — асмодем. Что такое асмодей, я тогда не знал, но, заглянув как-то в словарь, прочитал, что таким словом издревле называли соблазнительей. Конечно, отца можно было ревновать, его часто приглашали на гулянки, и он возвращался домой под утро. А к баянисту, естественно, липли свободные бабёнки. Над отцом на улице посмеивались, называли его “Понимаешь” за частое употребление этого слова, которым отец то и дело перемежал свою речь. Но оглядываясь в своё прошлое, припоминая все наши разговоры, я думаю, что у отца был природный, сметливый ум, он мог найти выход из самой непростой ситуации, особенно если это касалось технических вопросов. Дело даже не в том, что он был умельцем, мастером-золотые руки, но Господь дал ему ещё и дар работать от зари до зари. Но только в том случае, если он видел в этом смысл. Сегодня я понимаю, чего ему стоило практически в одиночку построить дом, в котором мы выросли. И поговорить с ним можно было на любую тему: и про войну в Корее, и про американцев, которые задумали осушить озеро Байкал — в те времена ходила такая легенда.

— Куда им, кишка тонка. Думают, заимели бомбу, так всё могут. Если Байкал пойдёт, то все моря за собой поведёт, — с сомнением вмешивалась в разговор мама.

Куда он пойдёт и зачем поведёт моря, я так и не понял, но очень долго, вплоть до школы в разговорах с ребятнёй повторял её слова. Надо мною смеялись. А вот когда я впервые увидел Байкал, то мне стало ясно, почему мама так говорила. Не озеро, а настоящее море, от горизонта до горизонта.

В своей жизни мама кроме Ангары и Иркутка ничего не видела. И когда она с отцом поехала по ягоды на Байкал, его огромность и красота произвела на неё огромное впечатление. А тут ещё вовсе по Иркутску шли разговоры, что хотят взорвать Шаман-камень, чтобы побыстрее заполнить ложе Иркутской ГЭС. Люди беспокоились, что пойдёт вода, и никакая плотина её не удержит, и тогда все посёлки ниже Иркутска будут сметены водой. А мы все хорошо помнили, как зимой пятьдесят второго Ангара вышла из берегов и затопила все Релки. Даже у нас в подполье была ангарская вода.

Часто с отцом они ездили по ягоды. Мы обычно ходили их встречать. Однажды мы пошли встречать маму и отца на “Скотоимпорте”. Они с отцом приехали из Култгука на “вертушке” — так назывался эшелон, который возил скот из Монголии на иркутский мясоккомбинат. Мы стояли с одной стороны вагонов, а мама с горбовиком шла по настилу с другой стороны. Мы её начали окликать, она спустилась с настила и полезла к нам под вагон. И тут состав тронулся. Цепляя горбовиком днище вагона, мама заметалась между рельсов, горбовик мешал ей быстро выскочить из-под вагона. И уже в последний момент, когда казалось, что сейчас стальные колёса переедут её, она каким-то непостижимым рывком успела выскочить. Её трясло, а мы заревели во весь голос.

— Ну, чего ревёте! — дрогнувшим голосом сказала она. — Видите, всё хорошо, я с вами. Мы ещё поживём...

Перед тем как мне пойти в школу, она взяла меня с собой в деревню, и я тогда своими ногами понял, какую длинную дорогу приходилось ей одолевать, чтобы привезти нам кусок хлеба. Мы шли, вернее, она тащилась со мною и ещё какой-то своей знакомой от станции Куйтун до Бурука пешком. Между ними было где-то около сорока километров. Я впервые видел огромные сосны, ели, множество саранок и других цветов, но уже к вечеру они не радовали меня, дорога умотала меня настолько, что хотелось сесть на какую-нибудь колодину или попроситься к маме на руки. Но передохнув немного, мы шли, шли, шли по бесконечной, кое-где залитой грязными львами дороге, и казалось, что я умру и так не дойду до этого Бурука, где жил самый младший мамин брат — Иван. Уже у самого Бурука под вечер нас догнала какая-то машина, и через полчаса мы были у дяди Вани. Там я стал предметом особого внимания новой для себя родни, познакомился со своими двоюродными братьями и сёстрами. Жена дяди Вани напоила меня молоком, а мама начала раздавать подарки сёстрам — красивые цветные ленты. Помню, что меня охватила какая-то непонятная зависть; видимо, я привык, что все подарки полагаются только мне. На другой день дядя Ваня взял лошадь и повёз нас к другому мамину брату, Артёму. По пути я видел, как перебегает дорогу дикая коза, видел рабочих, которые гнали дёготь. А поздним вечером я познакомился со своими двоюродными братьями и сёстрами Ерккой, Раей, Зиной. Поздним вечером, когда на Броды опустилась темнота, они разожгли костёр, и при его пляшущем свете мы ходили колупать из упавшей лиственницы серу.

Как о самом дорогом воспоминании своего детства мама рассказывала, что однажды тёплым весенним утром она вышла в огород и шла, раздвигая руками туман, который был таким плотным, что ей хотелось лечь в него, как в перину, и смотреть в огромное синее небо, где звенели жаворонки.

Мама недолго любила коммунистические праздники. Часто к нам приходил священник, которого обычно на Релки приглашала приехавшая в Сибирь из далёкой Вологды тётя Люба Лысова, невысокого росточка, ходившая во всем тёмном и с клюкой. Она славилась на всю округу умением плести кружева из обыкновенных белых ниток. Почти все женщины мечтали иметь на наволочках, пододеяльниках и на платьях её кружева. Кстати, она прожила что-то около ста лет в постоянной бедности и нехватках. Постоянной гостьей у неё была неизвестно как попавшая на Релки Лиза-дурочка, которую все жалели, часто сторонились и побаивались, поскольку считалось, что она могла напустить порчу. А вот Лысова называла её “дитя Божье” и говорила, что мы все должны по возможности помогать ей в её непростой жизни.

— Вот её все кличут дурочкой, а душа у неё добрая, она ни одну собаку, ни одну больную кошку не пропустит, — говорила мама. — Всех несёт к себе. Я за ней понаблюдала, людей она видит насквозь. И судьбу может предугадать. Только кому это надо, каждый слушает самого себя.

Знали ли сама Лиза о своей судьбе, и что она предсказывала Лысовой и моей маме, меня, как и всех, не интересовало. В то время мы жили одним днём, одной минутой, а что будет завтра — узнаем завтра...

У мамы было несколько закадычных подруг. Соседка Нюра Сутырина, Мария Сутырина, которая была родной сестрой моего деда Михаила, Анна Ножнина, которая была уже родней моей бабушки, Феня Глазкова, Надя Мутина, Фрося Говорчукова, Паша Роднина, Валя Оводнева, Шима Иванова, Любава Мутина — тот круг соседей, с которыми она делила все невзгоды и все радости небогатой на события релской жизни. Все они, а часто и с мужьями, любили бывать у нас, посудачить, поворошить релские и жилкинские новости, а мужики — порасспросить отца о заветных грибных и ягодных местах. Мой отец места эти не таил, предлагал всем ехать с ним в тайгу, добавляя, что тайги хватит на всех. И бывало, соберутся человек двадцать с корзинами и горбовиками, гуськом потянутся на “вертушку” и почти никогда не возвращаются пустыми.

Чаще всего отец брал мамину родню, а те прихватывали своих знакомых. Половина из них были подростки, девчонки и ребята. Ещё отец уступал моим просьбам, и я прихватывал своих друзей: Олега Оводнева или Вадика Иванова. Но предупреждал, что дорога дальняя, идти пешком что-то

около двадцати километров. И не по асфальту, а по таёжной тропе, через буреломы, болотную низину, Грязный ключ, да потом ещё в гору, тыкаясь носом в камни и выворотни. Таких походов за ягодой было много, но запомнился первый. Всего набралось восемнадцать человек, в основном мамыны товарки и родня маминого брата Кондрата. Кроме того, он решил угодить своему пожарному начальнику Остроумову и пригласил его поехать за ягодой с сыном. В незнакомой компании они держались обособленно, всем своим видом показывали, что делают одолжение, согласившись поехать с нами. Всё шло вроде бы неплохо, но когда стали перебираться через Грязный ключ, который после дождей расплывался до километра шириной, Остроумов, провалившись в жижу, чуть не потерял свой сапог. И тут началось!

Столько высказываний и язвительных замечаний — то не так, другое не так — я, пожалуй, ещё не слышал за свою короткую жизнь. И дорога не та, и ветки бьют по глазам, и отдыхаем мало, и зачем только они согласились ехать; можно было сходить на базар и купить ведро-другое, больше не потребуется. Все молчали, посмеиваясь в кулак. Когда дорога пошла в гору, мама попросила меня собирать грибы.

— Придём на место, — сказала она, — грибы и сгодятся, я суп сварю.

Вдоль тропы то и дело попадались подосиновики и даже белые грибы. За полчаса я набрал целое ведро свеженьких, без единого червя грибов.

Где-то к вечеру мы спустились к Иркуту, отец под скалой развёл костёр и, прихватив собственноручного изготовления совок, который он называл “комбайном”, ушёл проверять урожай брусники. Когда у мамы закипел грибной суп, он вернулся обратно. Совок был полон ягоды, да ещё был полон котелок. Отец высыпал бруснику в ведро, оно оказалось полным. Все начали пробовать ягоду. Настроение у отца было приподнятое — не зря, значит, мы проделали далёкий путь. А бывало, возвращались пустыми.

Когда мама начала разливать суп, то выяснилось, что многие не взяли с собой ложки. Отец тут же вырезал берестяные кружочки, свернул их кульком, насадил на палочку — и ложка готова. Суп оказался таким вкусным, что многие попросили добавку. Из своей природной тактичности все хвалили маму за то, что она так на ходу придумала это таёжное угощение. А чуть попозже, когда все, насытившись, побежали умываться и плескаться к Иркуту, Остроумовы улеглись в свою прихваченную из пожарной части палатку, достали свёртки и принялись уплетать прихваченную копчёную корейку.

К тому времени из рассказов отца я уже хорошо знал, что есть неписанные законы тайги: всё, что берётся с собой, передаётся в общий котёл; отставшего человека нельзя оставлять одного; сильный всегда поддерживает слабого и ещё многое-многое другое. Наступила ночь, и здесь отец преподавал ещё один урок из своей богатой таёжной жизни. Вначале под камнем он нам в радость развёл огромный костёр. Затем, когда сушины прогорели, отец сгреб ещё тлеющие уголья в сторону, заложил кострище сихтовыми ветками, поверх которых мы настелили мох. Таёжная перина была готова. Уже в темноте, при бликах маленького костра, мы улеглись на мягкую подстилку, укрывшись прихваченным брезентом и фуфайками. Мы лежали, смотрели на потрескивающий огонь, слушали шум близкой реки, отдалённые крики обитателей тайги, смотрели на близкое звёздное небо, и каждый понимал, что такого не увидишь и не услышишь в городе, где всё разгорожено заборами, укрыто бетонными стенами и шиферными крышами. Это были не те, привычные нам костры, которые мы разводили, запекая картошку. Тут мы напрямую соприкоснулись с первобытной, практически ещё не тронутой человеком природой. Начитавшись книг, я даже пытался сравнить это место с затерянным миром, где умение выживать, приспособиться имело особое значение. Такой перины и такого тепла не было в затерянном мире. Нам было тепло, даже, можно сказать, жарко от земли, пахнувшей хвоей, шёл жар, и вскоре мы заснули, как убитые.

Ягоды было столько, что уже к обеду прихваченная нами посуда была заполнена. Отец сделал для меня из бересты два туюсочка, вскоре и они были заполнены. Остроумовы были без совков, да и горбовики у них оказались

какими-то неприспособленными для таких поездок. Поначалу Остроумов решил ссыпать бруснику в вещмешок, но мама сказала, ягода спелая и быстро подавится.

— Вся работа будет насмарку.

Услышав её слова, отец без слов и просьб отрезал кусок сгнившей березы, вытряхнул из неё труху, из той же бересты вырезал кружок, закрепил его тонкими прутиками и подал Остроумову:

— Здесь на полтора ведра. Если надо, я сделаю ещё.

— Только и всего, — удивлённо протянул Остроумов. — А не высыпется?

Отец улыбнулся и тут же высыпал из своего “комбайна” в туюсок бруснику.

— Проверяй!

— Ну, Николай, ну, умелец, — похвалил его Остроумов. — Может, ты мне его наполнишь, чего тебе стоит?

На лице отца появилась лёгкая усмешка, которую он тут же погасил добродушной улыбкой: такой откровенности он не ожидал.

— Осип, может, тебя ещё на руках поносить, — рассмеялся отец. — Здесь нет начальства, все равны. Таков закон тайги.

Ну, про закон он добавил для верности, чтобы его слова не показались грубыми. Меня сместило, что младший Остроумов всё бегал смотреть, где, в каком месте я так быстро нагребая свои совки брусничкой. Знал бы он, что для нашей семьи это было привычным делом. Если в тайге был урожай, то мы всей семьёй делали три ходки под Иркут. Первая брусника шла на продажу, на вырученные деньги мама покупала нам школьную одежду, и вторая партия шла на продажу, а уже третью, самую спелую, засыпали в бочку, и она съедалась к весне. Набив свою посуду, отец ушёл помогать маме.

Когда мы спустились с горы к табору, выяснилось, что отец взял с собой сеть, и пока мы там, на склонах и бугорках набивали свою посуду ягодой, он натаскал почти целое ведро хариушков. Все собрались вокруг его улова, дивились, брали рыбин за жабры. Пока у мамы созревал в ведре суп, отец вырезал удилище, привязал к нему снасть и начал показывать мне, как лучше всего подсекать стремительно бросающуюся на муху рыбу. Хариус хватал наживку, едва она касалась воды. Немного погодя, пытая, как паровоз, с горы спустился Остроумов. Лицо его при виде белопузых, серебристых рыбин стало лиловым.

— Ты что это, прямо здесь? — хриплым голосом выдохнул он.

— А где же ещё, — засмеялся отец. — Рынка здесь нет.

Остроумов начал суетливо рыться в своих вещах, затем ни с того ни сего накинудся на сына, который якобы забыл снасти. Отец протянул ему удилище.

— Чего шумишь, вот тебе струмент, иди, пробуй.

Остроумов колобок покати к Иркуту, долго подыскивал удобное место, но по тому, как он начал крутить над головой снасть, стало понятно: он перепутал её с брандспойтом. И сколько Остроумов ни хлестал леской воду, почему-то рыба наживку хватать не пожелала. Рыбачий пыл у Остроумова закончился быстро, он вернулся к табору и бросил удилище.

— Нет, ты чё сделал, — начал выговаривать он отцу. — Сам нахапал, а потом прогнал рыбу.

Отец молча освободил удилище от снасти, завернул её в свёрток и спрятал в карман.

— Быть дождю, — неожиданно сказал он, поглядывая куда-то в сторону заснеженных гольцов. — Надо срочно сниматься и выходить к тракту. Думаю, что будет снег с дождём.

— А как же обед? — спросила мама.

— Всё в темпе. Иначе застрянем здесь до морковкиного заговенья.

Что такое морковкино заговенье, я не знал, но понял, что это надолго.

Остроумов походил, потоптался вокруг кострища, затем сообщил, что у него скоро день рождения, будут важные гости, и он готов кушать у отца часть улова. Отец по-ребячьи снизу вверх посмотрел на Остроумова и, сложив в себе какую-то преграду, достал из ведра несколько крупных рыбин.

— Всё остальное можешь забирать, — сказал он.

— Но если я плачу, то я взял бы и этих, — начал Остроумов. — Или, может, ты ещё половишь?

— Меня в детстве учили: дают — бери, бьют — беги, — неожиданно жёстко ответил отец. — Через час пойдёт дождь, и я боюсь, что сегодня придётся ночевать в снегу. Дай Бог самим выбраться отсюда.

Начали спешно собираться. Отец, оглядев свою разношёрстную бригаду, неожиданно скомандовал: всем снять нижнюю одежду и спрятать в брезентовые мешки.

— Это ещё зачем? — удивились Остроумовы.

— До ночи дойти до тракта не успеем, придётся ночевать в тайге. Душаю, что там, на горе, будет снег.

Просьбу отца неохотно, но выполнили почти все.

— У нас непромокаемые плащи, — сказал Остроумов.

Я ожидал, что Остроумов предложит свои вещмешки под нашу одежду, но куда там. Тут сработал принцип: каждый сам за себя.

Как и предсказывал отец, дождь начался, едва мы покинули табор. И уже буквально через полчаса повалил снег. Очень быстро снег с дождём сделал своё дело: мы то и дело спотыкались, падали. Больше всех страдал Остроумов. Непривычный к таёжным тропам, к тому, что ноги то и дело разъезжаются в разные стороны, он начал допускать те крепкие выражения и матюки, за которые его маму уж точно не раз бы вызвали в школу, а потом поставили голыми коленями на горох в самый передний угол. Действительно, такого трудного подъёма с полной поклажей я ещё не знал.

— Отец, ему ещё жить, отсыпь, — на одном из перекуров, глянув на мое лицо, неожиданно жёстко сказала мама. — Или я сама у него заберу.

Я знал, что у отца была неподъёмная ноша, но он безропотно выполнил волю мамы.

Уже в темноте, когда среди девчонок начались всхлипывания и слёзы, мы, падая, съезжая по снегу и грязи на заднем месте, спустились с горы. Отец вывел нас к заброшенным на болоте покосам. Он снял свою поклажу и сказал, что ночевать будем здесь. Подойдя к засыпанному снегом зародам, он начал вырывать из стога сухое сено, делая что-то вроде норы. Затем приказал нам снять мокрую одежду, надеть сухую, и мы, как мышки-полёвки, постукивая зубами от холода, но всё же в сухой одежде забрались в нору, где в нос шибануло сухое, пахнущее дурманом сено. Сон был ещё более крепким, чем на таёжной перине. Проснулись мы в зиме — вся тайга была под снегом. Но возле стожков уже дымил костерок, в большом походном котелке мама варила уху из тех харюзков, что оставил отец себе.

Что я вынес из этих походов в тайгу за ягодами? Тогда я этого не осознавал в полной мере, но что-то из увиденного откладывалось в голове. Главное: что можно делать, а чего — нельзя. А ещё терпеть нелёгкий путь по тайге, показывать всем, кто под руководством моего отца впервые пошёл нелёгкой тропой под Иркут, что здесь нет своих и чужих, все выходят на своих двоих. И когда мне уже не доставало терпелю, встречаясь глазами с отцом, я тихо спрашивал: сколько ещё осталось?

— Вот сколько прошли, осталось ещё столько же и полстолько, — улыбнувшись, говорил отец. — Терпи, тебе в жизни это пригодится: уметь выживать в любых условиях.

Собственно, вся жизнь и состояла из уроков умения выживать. Конечно, основная нагрузка была на родительских плечах: нужно как-то выкрутиться, но чтоб утром на столе был кусок хлеба, а уж что к нему, как говорила мама, Бог подаст. Уже много позже я пойму, что жизнь будет сталкивать и усаживать рядом со мной, как в рейсовом автобусе, разных людей. За короткое время ты даже, возможно, что-то узнаешь о них, можешь даже поспорить, поругаться. Но вот очередная остановка, ты вышел или они, и уже никогда не встретишься с теми, кто сидел рядом. А впечатления от таких встреч, бывает, остаются надолго. Так было и с Остроумовыми. Никогда больше я не встречался с ними. Почему-то всё хорошее быстро забывается, а плохое сидит где-то в душе, как ржавый гвоздь.

Однажды, когда мама заболела, она попросила меня принести воды. Выпив воду, она поставила стакан на стул и неожиданно спросила:

— Вот когда я умру, ты будешь приходить ко мне на могилу?

Я оторопело посмотрел на нее: да такого быть не может, чтобы мамы не было с нами. Впрочем, размышления о неизбежном конце всего живого посещали меня, особенно когда к нам приходил мамин брат дядя Кондрат, чтобы помочь отцу заколоть свинью. Мы его называли Борькой, я ему иногда давал попить молока и даже пытался прокатиться на нём верхом, что ему не очень-то нравилось. И вот его, моего любимца, должны были зарезать. Я убегал в дом, чтобы не слышать его предсмертного крика и, закрыв уши, читал сказку про Колобка, который и от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл. А вот Борька не уйдёт. Но я очень хотел, чтобы он стал эдаким колобком. И всё равно в голову лезли нехорошие мысли, что придёт время, и мы все умрём.

Когда я приезжал в отпуск из училища, особенно в первый раз, всё в доме было, как и раньше, мама рассказывала, что после смерти отца пошла работать на комбикормовый завод, и там по неосторожности умудрилась записать палец в дробилку зёрен. Она показывала неровно сросшийся палец, который ей размолотила машина.

Второй раз я приехал осенью, в начале октября. Было уже поздно, я приехал с вокзала последним автобусом. С Барабы по знакомым буграм и кочкам, перепрыгивая через лужи, добежал до дома. Света не было, все уже, видимо, легли спать. Я полез на забор, чтобы открыть защёлку на воротах, и услышал сдавленный крик. Через ограду во тьме ко мне летела моя мама. Перед сном она пошла в туалет и увидела, что кто-то лезет через забор. Конечно, она догадалась, что это приехал я, вскрикнула, как подраненная, и уже через секунду обнимала и целовала меня.

— Наконец-то дождалась, — шептала она.

Потом всю ночь сидела возле меня на кровати, гладила, как маленького в детстве, что-то говорила, но в основном расспрашивала, как проходит учёба, как я летаю.

— А помнишь, как ты, завидев самолёт, кричал: “Ароплан, ароплан, посади к себе в карман”, — вспоминала она. — Должно быть, тогда в тебе зародилась мечта стать лётчиком.

— Да ты же сама говорила, что врач, принимающая роды, сказала, что родился лётчик, — грустно улыбаясь отвечал я. — И отец назвал меня в честь Чкалова.

— Я уже всё забыла, — ответно улыбалась она.

*Небо синее в горошек
Заслонила яблонь тень,
Я лежу, гляжу в окошко
На осенний день.*

*А из кухни запах хлеба,
Мама с радостным лицом,
Самолётик чертит небо
По стеклу резоном.*

*А пока он целит в раму,
Я прошу аэроплан:
— Прокати по небу маму,
Посадив к себе в карман.*

Это я напишу много позже, когда уже не буду летать, а буду, склонившись над чистым листом, вспоминать свои первые шаги в небо и тот приезд домой в свой курсантский отпуск. Через пару дней мама сделала мне встречу, накрыла для моих друзей стол, я ещё удивился: дома денег нет, мне надо ещё на обратный путь, а тут на тебе! Не ведал я, что она не только сделала мне встречу, но это был день её рождения, последний в жизни. А я тогда слишком много уделял внимания своей персоне, своим друзьям, хвастал-

ся курсантской формой, вставляя в свою речь новые, непривычные маминому слуху словечки из лексикона нашего старшины с Черноморского флота, и она простодушно спрашивала: что такое гальяон, кубрик и почему меня так часто посылают на шкентель.

По приезде я с ребятами пошёл на танцы, меня продуло на холодном ветру, и начались стреляющие боли в голову. Дома я спал на раскладушке, мама, чтобы облегчить мои боли, поставила возле головы включенную электрическую плитку. Немного, но всё же помогало. Она сидела рядом, и я чувствовал, что она носит в себе какую-то тяжёлую думу, но не мог себе даже представить, что она неизлечимо больна, и жить ей осталось совсем немного. Но она, как умела, сдерживала себя, чтобы я не догадался о её болезни и уехал в училище со спокойной душой. Даже съездила на вокзал и купила мне билет. Последнее, о чём она попросила меня, чтоб я на месте стайки выкопал курятник, поскольку был он у нас под кухонным столом, и от него всегда несло помётом. Я вырыл яму, обшил её досками, но не успел сделать крышу. Она пришла из больницы, оглядела мою работу, ничего не сказала, и я понял: ей уже не до курятника.

Ранним утром одиннадцатого ноября 1963 года в сильный мороз она вместе с моими сёстрами и другом Олегом Оводневым поехала провожать меня на вокзал. И когда поезд тронулся, я, увидев на её глазах слёзы, запел: “Вот и стали мы на год взрослей”.

Мне хотелось, чтобы она перестала плакать, ну, не нашёл я тогда других слов, чтобы успокоить её. И она, уже не сдерживаясь, разрыдалась.

Плакала она и тогда, когда в августе шестьдесят первого за столом собрались мои друзья и дядя Кондрат, чтобы проводить меня в училище. Я вижу её жалобные, искривлённые горем губы, замечаю, что у неё уже нет коренных зубов. Плакала она, должно быть, вспомнив только что ушедшего в мир иной отца, который не дожил до этой минуты, чтобы погордиться своим сыном, первым на всех Релках лётчиком. А на вокзале она осмотрит место, на котором я поеду в училище, накажет моей соседке, женщине с дочкой, чтоб посматривала за мной.

Сейчас она не стала даже заходить в вагон, закусив шерстяной платок, она некоторое время сдерживалась и всё-таки не смогла сдержаться: из глаз потекли слёзы. После, приехав домой, она сказала сёстрам:

— Всё, я его больше никогда не увижу.

И слегла в постель. И больше уже не выходила на улицу, лишь иногда просила моего младшего брата Сашу, чтобы он помог ей выйти на крыльцо, подышать свежим воздухом. Там она усаживалась и просила поддержать ей спину, сил у неё почти не оставалось. Смотрела на снег, на забор, на крышу соседнего дома. О чём она думала? Наверное, как впервые приехала сюда, ещё в старую засыпнушку, которую отец купил у железнодорожника и которую разобрали сразу же после рождения Саши. Здесь, на Релках, она прожила почти тридцать лет, пережила войну, смерть нескольких своих детей. Здесь прошла большая часть её жизни. И вот дома холодно и голодно, нет уже сил, нет мужа, рядом трое девчонок и ещё маленький сын, который, хлопая большими глазёнками, смотрит на неё. Да ещё где-то там, далеко в Бугуруслане, другой. Она соберётся с силами и напишет мне письмо, очень беспокоясь о моём здоровье, понимая, что для той работы, которую я выбрал, быть здоровым — это главное.

“И если что случится, то вы не забывайте друг друга”, — написала она в конце. Я читал письмо, выходил на улицу и плакал.

В тот день был Старый Новый год. Было холодно, градусов под тридцать. Я пришёл из караула, почти тотчас была дана команда “отбой”, и я лёг, накрывшись поверх одеяла шинелью. Только я повернулся к батарее отопления, как услышал по коридору грохот ботинок и почему-то сразу догадался, что идут ко мне. Подошли старшины Боря Зуев и Толя Соловьёв и сказали, что умерла мама. Спросили, есть ли у меня деньги. Я достал из тумбочки три рубля. И тогда в казарме вспыхнул свет, товарищи собрали мне денег на дорогу — до Иркутска вполне хватало. Валерка Пелих написал записку своему отцу, мол, помоги этому парню, чем можешь. Затем мы пошли к дежурному по училищу, и на дежурной машине поехали на вокзал.

Там мой старшина Толя Соловьёв договорился с машинистом, меня посадили в заднюю кабину электровоза.

— Что поделаешь, парень. Не ты первый, и не последний, — сказал машинист.

И я остался наедине со своим горем. Электровоз шёл без остановок сквозь чёрную ночь, постукивая на стыках и пугая близкими гудками, которые разрывали мои путанные мысли.

К утру я доехал до Куйбышева, так тогда называлась Самара, сел на такси и помчался в аэропорт Курумоч. По доске объявлений я узнал, что через два часа должен был приземлиться самолёт из Одессы, который следовал до Иркутска. Но потом объявили задержку рейса по технической причине, и я просидел со своим горем в аэропорту почти два дня. Хорошо, что хватило ума взять билет до Москвы, и с ещё одним парнем, нашим курсантом из Хабаровска, мы на Ан-10 полетели в аэропорт Быково. Командир корабля пригласил нас в кабину и стал говорить, чтобы мы обязательно изучали английский язык. Но мне было не до языка, хотя кабину пилотов я осмотрел внимательно. Конечно, это уже была не кабина нашего маленького “Яка”. После посадки через весь город на автобусе мы переехали во Внуково. Я сидел и глазел по сторонам: на перекрёстках в таких же белых полшубках, как у моих земляков-сибиряков в сорок первом, когда они пришли защищать Москву, стояли постовые, и заученными жестами крутили чёрные в полоску указатели, регулируя потоки. В тот момент я почему-то вспомнил своего отца, который когда-то в нашем доме учил правилам дорожного движения своего младшего брата Алексея.

Так я впервые в жизни попал в столицу нашей родины. Во Внуково мой попутчик-курсант познакомился с каким-то проходимцем, и они начали вымогать у меня деньги, чтобы попить московского пива. И я чуть было не отдал, но всё же что-то остановило меня.

— Нет, ты же знаешь, что я еду на похороны, — сказал я.

После этого они потеряли ко мне всякий интерес. Позже я встретил моего случайного попутчика в учебно-лётном отделе училища, он прошёл мимо, как бы не узнав меня.

В Иркутск я прилетел ночью, взял такси, доехал до “Нефтегеологии” и по заснеженному полю, по узкой тропинке, по которой когда-то возвращался после занятий в планерном кружке, побежал домой. В эти часы Релки ещё спали. Я перелез через ворота, стукнул в окно. В доме зажёгся свет, началось шевеление. И неожиданно в окне я увидел маму. Сердце дрогнуло, но тут же до меня дошло, что это — мамина сестра, тётка Наталья. Они были очень похожи. Когда я зашёл в дом, начались слёзы, причитания, я увидел дядю Артёма. Они все ждали, когда я приеду, даже ездили в аэропорт встречать самолёт, но почему-то из Оренбурга.

Неожиданно я встретил взгляд моего брата Саши: его глаза смотрели на меня с какой-то непонятной мне, взрослой печалью. В тот последний для мамы день она попросила его сварить вермишелевую похлёбку. Для Саши это оказалось непосильной задачей, тогда мама стала руководить процессом. Сказала, чтобы он налил в кастрюлю воды, затем, когда вода закипела, попросила посолить, и он бухнул столько соли, что хлебать вермишель было невозможно.

— Как же вы будете жить без меня, — с горечью сказала мама. Вскоре пришла “скорая”, он помог маме одеться. Возле нашего дома проводить маму уже собрались соседки. Перед тем как сесть в машину, мама оглядела их, затем оглянулась на заледенелые окна своего дома. — Прощайте, девки, думаю, мы уже не увидимся, — сказала она и сделала по снегу шаг к машине. Уже из дверей она глянула на прилипшего к окну младшего сына, перекрестила его и сделала слабую попытку улыбнуться. То, чего не смогла сделать, когда провожала меня на вокзале...